

Скуки ради — текст 1 из 2

...Извергая клубы тяжелого, серого дыма, пассажирский поезд, как огромное пресмыкающееся, исчезал в степной дали, в желтом море хлебов. Вместе с дымом поезда в знойном воздухе таял сердитый шум, нарушавший в продолжение нескольких минут равнодушное молчание широкой и пустынной равнины, среди которой маленькая железнодорожная станция возбуждала своим одиночеством чувство грусти.

И когда глухой, но жизненный шум поезда рассеялся, замер под ясным куполом безоблачного неба, вокруг станции снова воцарилась угнетающая тишина.

Степь была золотисто-желтая, небо ярко-голубое. И та и другое необъятно велики; коричневые постройки станции, брошенной среди них, производили впечатление случайного мазка, портившего центр меланхолической картины, трудолюбиво написанной художником, лишенным фантазии.

Ежедневно в двенадцать дня и в четыре пополудни к станции приходят из степи поезда и стоят по две минуты. Эти четыре минуты главное и единственное развлечение станции: они приносят с собой впечатления ее служащим.

В каждом поезде толпа разнообразных людей, разнообразно одетых. Они являются на миг; в окнах вагонов мелькнут их утомленные, нетерпеливые, равнодушные лица звонок, свистки и с грохотом они уносятся по степи, вдаль, в города, где кипит шумная жизнь.

Служащим станции любопытно видеть эти лица, и, проводив поезд, они делятся друг с другом наблюдениями, схваченными на лету. Вокруг них лежит молчаливая степь, над ними равнодушное небо, а в их сердцах смутная зависть к людям, которые ежедневно куда-то стремятся мимо них, тогда как они остаются, заключенные в пустыне, живя как бы вне жизни.

И вот, проводив поезд, они стоят на перроне станции, провожая глазами черную ленту, она исчезает в золотом море хлеба, молчат под впечатлением жизни, пролетевшей мимо них.

Они почти все тут: начальник станции добродушный, полный блондин с большими казацкими усами; его помощник рыжеватый молодой человек с острой бородкой; станционный сторож Лука маленький, юркий и хитрый, и один из стрелочников Гомозов, плотный, широкобородый, молчаливый мужик. На скамье у двери станции сидит жена начальника, маленькая, толстая женщина, сильно страдающая от жары. На коленях у нее спит ребенок, лицо у него такое же пухлое и красное, как у матери.

Поезд скрывается под уклоном, кажется, что он зарылся в землю.

Тогда начальник станции говорит, обращаясь к жене:

А что, Соня, самовар готов?

Конечно, лениво и тихо отвечает она.

Лука! Ты тут, того... подмети полотно и перрон... видишь сколько нашвыряли всякой всячины...

Я знаю, Матвей Егорович...

Да... ну, что же? Будем чай пить, Николай Петрович?

По обыкновению, говорит помощник.

А после провода дневного поезда Матвей Егорович спрашивал жену:

А что, Соня, обед готов?

Потом он отдает приказание Луке, всегда одно и то же; приглашает помощника, который столуется у них:

Ну, что же? Будем обедать?

А помощник резонно отвечает ему:

Как всегда...

Уходят с перрона в комнату, где много цветов и мало мебели, где пахнет кухней и пеленками, и там, вокруг стола, разговаривают о том, что промелькнуло мимо них.

Заметили, Николай Петрович, во втором классе брюнеточку в желтом?

Ядовитая штукенция!..

Недурна, но одета безвкусно, отвечает помощник. Он всегда говорит кратко и уверенно, считая себя человеком, знающим жизнь и образованным. Он кончил гимназию. У него есть тетрадка в черном коленкоре; он записывает в нее разные изречения знаменитостей, вылавливая их из фельетонов газет и книг, случайно попадающих в его руки. Начальник бесспорно признает его авторитет во всем, что не касается службы, и слушает его внимательно.

Особенно ему нравятся премудрости из тетрадки Николая Петровича, и он всегда простодушно восхищается ими. Замечание помощника о костюме брюнетки вызывает у Матвея Егоровича вопрос:

Разве желтое не к лицу брюнеткам?

Я говорю о фасоне, а не о цвете, объясняет Николай Петрович, аккуратно накладывая варенье из стеклянной вазы себе на блюдечко.

Фасон это другое дело!.. соглашается начальник.

В разговор вступает его жена, потому что эта тема близка и понятна ей. Но так как умы этих людей мало изощрены беседа тянется медленно и редко волнует их чувства.

А в окно смотрит степь, очарованная молчанием, и небо, важное в своем великолепном спокойствии.

Почти каждый час являются товарные поезда; но прислуга, сопровождающая их, давно знакома. Все эти кондуктора люди полусонные, подавленные скучной ездой по степи. Впрочем, иногда они рассказывают о происшествиях на линии: на такой-то версте раздавили человека; или говорят о новостях по службе: тот оштрафован, этот переведен. Эти новости не обсуждаются их пожирают, как лакомки пожирают вкусное и редкое блюдо.

Солнце медленно сползает с неба на край степи, и когда оно почти коснется земли, то становится багровым. На степь ложится красноватое освещение, возбуждающее тоскливое чувство, смутное влечение вдаль, вон из этой пустоты. Потом солнце прикасается краем к земле и лениво уходит в нее или за нее. В небе еще долго после него тихо играет музыка ярких цветов вечерней зари, но она все бледнеет, и наступают сумерки, теплые и молчаливые. Вспыхивают звезды и трепещут, точно испуганные скукой на земле.

В сумерках степь суживается; на станцию со всех сторон бесшумно ползет тьма ночи. И вот приходит ночь, черная, угрюмая.

На станции зажигают огни; ярче и выше всех зеленоватый огонь семафора. Вокруг него тьма и молчание.

Порой раздается звонок повестка к поезду; торопливый звук колокола несется в степь и быстро тонет в ней.

Вскоре после звонка из темной дали выбегает красный сверкающий огонь, и тишина в степи содрогается от глухого грохота поезда, идущего к одинокой станции, окруженной тьмой.

Низший слой маленького общества на станции живет несколько иначе, чем аристократия. Сторож Лука вечно борется с желанием сбегать к жене и брату в деревню за семь верст от станции. Там у него хозяйство, как он говорит Гомозову, когда просит этого молчаливого и степенного стрелочника подежурить на станции.

При слове хозяйство Гомозов всегда тяжело вздыхает и говорит Луке: Что ж, поди. Хозяйство требует присмотра, это верно...

А другой стрелочник, Афанасий Ягодка, старый солдат с круглым, красным лицом в седой щетине, человек насмешливый и злобный, не верит Луке.

Хозяйство! восклицает он, усмехаясь. Жена!.. Понимаю я, что оно такое... Жена-то у тебя вдова, что ли? Али солдатка?

Ах ты птичий губернатор! презрительно откликается Лука.

Он зовет Ягодку птичьим губернатором за то, что старый солдат страстно любит птиц. Вся будка у него, и внутри и снаружи, увешана клетками и садками; в ней, как и вокруг нее, целый день, не смолкая, раздается птичий гам. Плененные солдатом перепела неустанно кричат свое однообразное

подъ-полоть, скворцы бормочут длинные речи, разноцветные маленькие птички неустанно щебечут, свистят и поют, услаждая одинокую жизнь солдата. Он возится с ними все свое свободное время и, относясь к ним ласково и заботливо, не обнаруживает никакого интереса к товарищам. Луку он зовет ужом, Гомозова кацапом и, не стесняясь, говорит им в глаза, что оба они бабьи прихвостни и что следует за это бить их.

Лука на его слова мало обращает внимания, но, если солдату удастся раздражить его, Лука долго и едко ругает его:

Гарниза ты серая, крысиный объедок! Что ты можешь понимать, отставной козы барабанщик? Гонял ты всю свою жизнь лягушек из-под пушек да полковую капусту караулил... твое ли дело рассуждать? Пошел к перепелам, птичий командир!

Ягодка, спокойно выслушав ругательства сторожа, шел жаловаться на него начальнику станции, а тот кричал, чтобы к нему не лезли с пустяками, и гнал солдата прочь. Тогда Ягодка находил Луку и уже сам начинал ругать его не горячась, спокойно, тяжеловесными и скверными словами, от которых Лука скоро убегал, отплевываясь.

Гомозов на обличения солдата отвечал вздохами и сконфуженно оправдывался:

Что поделаешь? Ничего не поделаешь с этим... Конечно... баловство это... но, между прочим, не суди, да не осужден будешь...

Однажды солдат ответил ему, усмехаясь:

Заладила сорока Якова одно про всякого! Не суди, не суди... а коли не судить, так людям не о чем и разговаривать...

Кроме жены начальника, на станции была еще одна женщина кухарка. Звали ее Арина; ей было лет под сорок, и была она очень некрасива: коренастая, с отвислыми грудями, всегда грязная и оборванная. Она ходила, переваливаясь с ноги на ногу, и на ее рябом лице блестели узкие испуганные глазки, окруженные морщинами. Было что-то рабское, забитое в ее нескладной фигуре, толстые губы ее постоянно складывались так, точно она хотела просить прощения у всех людей, валяться в ногах у них и не смела плакать.

Гомозов прожил на станции восемь месяцев, не обращая особенного внимания на Арину; встречаясь с нею, он говорил ей здорово!. Она отвечала ему тем же, перекидывались двумя-тремя фразами и затем расходились, каждый в свою сторону. Но однажды Гомозов пришел в кухню начальника станции и предложил Арине сшить ему рубах. Она согласилась и, сшив рубахи, зачем-то сама понесла их к нему.

Вот и спасибо! сказал Гомозов. Три рубахи, по гривеннику штука, стало быть тридцать копеек следует тебе... Верно?

Да уж так... ответила Арина.

Гомозов задумался и долго молчал.

А ты какой губернии? спросил он наконец женщину, все время смотревшую на его бороду.

Рязанской... сказала она.

Издалека! А сюда как же попала?

А так... одна я... одинокая...

От этого и дальше можно зайти... вздохнул Гомозов.

И снова они долго молчали.

Вот и я тоже. Нижегородский я, Сергачского уезда... заговорил Гомозов. Вот и я тоже один, весь тут. А было у меня хозяйство, жена тоже была... дети двое. Жена умерла в холеру, а дети просто так... А я того... замотался с горя. Да-а... Потом пробовал опять устроиться ан нет, развинтилась машина, не работает. Ну и пошел... на сторону, стало быть, со своей дороги... вот и бьюсь третий год уж...

Плохо, когда нет своего гнезда, тихо сказала Арина.

Еще бы!.. Ты вдовая, что ли?

Девка...

Где уж, чай! откровенно усомнился Гомозов.

Ей-богу, девка, уверила его Арина.

Что же замуж не вышла?

Кто возьмет меня? Безо всего я... кому корысть... да и с лица некрасивая...

Да-а... задумчиво протянул Гомозов и, поглаживая бороду, стал пытливо смотреть на нее. Потом справился, сколько она получает жалованья.

Два с полтиной...

Так. Ну... значит, тридцать копеек тебе с меня? Вот что... ты приди-ка вечером за ними... часов этак в десять, а? Я тебе и отдам... чаю попьем, поговорим скуки ради... Оба мы одинокие... приходи!

Приду, просто сказала она и ушла.

Потом, придя к нему аккуратно в десять часов вечера, ушла от него уже на рассвете.

Гомозов больше не звал ее к себе и тридцати копеек ей не отдавал. Она сама явилась к нему, тупая и покорная, пришла и молча стала перед ним. Он, лежа на койке, посмотрел на нее я, подвинувшись к стене, сказал:

Садись.

А когда она села, объявил ей:

Ты вот что, храни это в секрете. Чтобы никто ни-ни! А то мне будет нехорошо... я не молоденький, да и ты тоже... Понимаешь?

Она утвердительно кивнула головой.

Провожая ее, он дал ей свою одежду для починки и опять напомнил ей:

Чтобы ни одна душа ни-ни!

Так они и зажили, пряча от всех свою связь.

Арина прокрадывалась к нему по ночам чуть не ползком. Он принимал ее снисходительно, с видом властелина, и порой откровенно говорил ей:

А и дурна же ты с лица!

Она молча улыбалась ему бледной, виноватой улыбкой и, уходя от него, почти всегда уносила с собой какую-нибудь работу, данную им.

Виделись они не часто. Но иногда Гомозов, встречая ее где-нибудь на станции, вполголоса говорил ей:

Приходи сегодня...

И она покорно являлась к нему с таким серьезным выражением на своем рябом лице, как будто пришла затем, чтобы выполнить долг, важность которого стала понятна ей.

А когда шла домой, то на лице ее уже снова была обычная ему мертвая мина виновности и испуга.

Порой она, остановясь где-нибудь в уголке или за деревом, подолгу смотрела в степь. Там царила ночь, и от сурового молчания ее на сердце становилось жутко.

Однажды, проводив вечерний поезд, станционное начальство устроило чаепитие в саду перед окнами квартиры Матвея Егоровича, в густой тени тополей.

В жаркие дни они часто делали так, это все-таки вносило некоторое разнообразие в монотонность их жизни.

Пили чай и молчали, исчерпав впечатления, данные поездом.

А сегодня жарче вчерашнего, сказал Матвей Егорович, одной рукой передавая пустой стакан жене, а другой отирая пот с лица.

Жена, принимая стакан, объявила:

Это от скуки кажется, что жарче...

Гм! Пожалуй... действительно... Вот карты хороши в этом случае... но нас только трое...

Николай Петрович повел плечами и, прищурив глаза, отчетливо произнес: Карточная игра, по выражению Шопенгауэра, есть банкротство всякой мысли. Ловко! умилился Матвей Егорович. Как это? Банкротство мысли... да-а! А кто сказал?

Шопенгауэр, немец, философ...

Фи-илософ? Мм...

А что эти философы в университетах служат? полюбопытствовала Софья Ивановна.

То есть как вам сказать? Это не чин, а... так сказать, природная способность...

Философом может быть всякий... кто родится с привычкой думать и во всем искать начало и конец. Конечно, и в университетах бывают философы... но они могут быть и просто так... даже служить на железной дороге.

И много получают те, которые при университетах?

Глядя по уму...

Но, если бы был четвертый, премило бы мы повинтили! со вздохом сказал Матвей Егорович.

И разговор оборвался.

В синем небе поют жаворонки, по тополям прыгают с ветки на ветку малиновки и тихо свистят. В комнате плачет ребенок.

Арина там? спрашивает Матвей Егорович.

Конечно... кратко отвечает ему жена.

Оригинальная баба эта Арина; вы заметьте, Николай Петрович...

Оригинальность первый оттиск банальности, как бы про себя говорит Николай Петрович, имея вид задумчивый и мыслящий.

Как? оживляется начальник.

И когда Николай Петрович вразумительно повторяет изречение, он сладко щурит глаза, а Софья Ивановна томным голосом говорит:

Как вы хорошо помните то, что читали... а я вот прочитаю и на другой день, хоть убейте, ничего не помню... Вот недавно в книжке Нива прочитала что-то такое интересное, такое забавное, а что? ни слова не помню!

Привычка, кратко объясняет Николай Петрович.

Нет, это лучше этого... как его? Шопенгауэра... улыбаясь, говорит Матвей Егорович. Выходит, что все новое будет старым!

И наоборот, ибо один поэт сказал: Да, экономна мудрость бытия: все новое в ней шьется из старья.

Фу ты, черт! Как это у вас... точно из решета сыплется!

Матвей Егорович довольно смеется, его жена мило улыбается, а Николай Петрович польщен и безуспешно хочет скрыть это.

Кто это сказал насчет банальности-то?

Барятинский, поэт.

А другое?

Тоже поэт Фофанов.

Ловкачи! одобряет поэтов Матвей Егорович и нараспев, с улыбкой удовольствия на лице, повторяет двестише.

Скука как бы играет с ними, на минуту освободит их от своих тесных объятий и снова обнимет. Тогда опять они молчат, отдуваясь от жары, увеличиваемой чаем.

В степи только солнце.

Да, так я заговорил об Арине, вспоминает Матвей Егорович. Странная эта

баба, смотрю я на нее и удивляюсь. Точно ее пришибло чем-то, не смеется она, не поет, говорит мало... пеня какой-то. Но между тем она очень хорошо работает и так, знаете, возится с Лелей, так внимательна к ребенку...

Он говорит тихо, не желая, чтобы Арина через окно услышала его слова. Он знает, что нельзя хвалить прислугу, если не хочешь, чтобы она зазналась.

Жена перебивает его, многозначительно хмурясь:

Ну, уж ты оставь... ты не все знаешь о ней!

Любви раба,

Я так слаба

В борьбе с тобой,

О демон мой!

Что, что такое? Она... ну, ну, это вы уж врете оба!

И Матвей Егорович громко хохочет. Щеки у него трясутся, и со лба быстро стекают капельки пота.

Это совсем даже не смешно! останавливает его жена. Во-первых, у нее на руках ребенок; во-вторых видишь, хлеб какой? Перекис, подгорел... А почему? Да-а, хлеб действительно не того... нужно ей сделать внушение! Но, ей-богу! это... оттого я не ожидал! Она ведь тесто! Ах ты, черт возьми! Но он, кто он? Лукашка? Я ж его высмею, старого черта! Или это Ягодка? А-а, бритая губа! Гомозов... кратко говорит Николай Петрович.

Ну-у? Такой степенный мужик? О-о? Да вы не того не сочиняете, а?

Матвея Егоровича очень занимает эта уморительная история. Он то хохочет с увлажненными глазами, то серьезно говорят о необходимости сделать влюбленным строгое внушение, потом представляет себе нежные разговоры между ними и снова оглушительно хохочет.

Наконец он увлекается. Тогда Николай Петрович делает строгое лицо, а Софья Ивановна круто обрывает мужа.

Ах, черти! Ну и посмеюсь же я над ними! Это интересно... не унимается Матвей Егорович.

Является Лука и докладывает:

Телеграф стучит...

Иду. Давай повестку сорок второму.

Скоро он с помощником уходит на станцию, где Лука дробно отбивает в колокол повестку. Николай Петрович садится к аппарату, запрашивая соседнюю станцию: могу ли отправить поезд 42, а его начальник ходит по конторе, улыбается и говорит:

А мы с вами вышутим их, чертей... все-таки, скуки ради, посмеемся хоть немного...

Это позволительно!.. соглашается Николай Петрович, действуя ключом аппарата.

Он знает, что философ должен выражаться лаконически.
Им очень скоро представилась возможность посмеяться.
Как-то раз ночью Гомозов пришел к Арине на погреб, где она, по его приказанию и с разрешения начальницы, устроила себе постель среди различного хозяйственного хлама. Тут было сыро и прохладно, а изломанные стулья, кадки, доски и всякая рухлядь принимали в темноте пугающие очертания; а когда Арина была одна среди них ей было до того страшно, что она почти не спала и, лежа на снопах соломы с открытыми глазами, все шептала про себя молитвы, известные ей.
Гомозов пришел, долго и молча мямл и тискал ее, а когда устал, то заснул. Но скоро Арина разбудила его тревожным шепотом:
Тимофей Петрович! Тимофей Петрович!
Ну? сквозь сон спросил Гомозов.
Заперли нас...
Как так? спросил он, вскакивая.
Подошли и... замком...
Врешь ты! испуганно и гневно шепнул он, отталкивая ее от себя.
Погляди сам, покорно сказала она.
Он встал и, задевая за все, что встречалось на пути, подошел к двери, толкнул ее и, помолчав, угрюмо сказал:
Это солдат...
За дверью раздался ликующий хохот.
Выпусти! громко попросил Гомозов.
Что? раздался голос солдата.
Выпусти, мол...
Утром выпустим, сказал солдат и пошел прочь.
Дежурство у меня, черт! сердито и умоляюще крикнул Гомозов.
Я подежурю... сиди, знай!..
И солдат ушел.
Ах, собака! с тоской прошептал стрелочник. Погоди... запирать меня все-таки ты не можешь... Есть начальник... что ты ему скажешь? Он спросит где Гомозов а? Вот ты и отвечай ему тогда...
Да это, поди-ка, начальник сам и велел ему, тихо и безнадежно сказала Арина.
Начальник? испуганно переспросил Гомозов. Зачем же это ему? И, помолчав, он крикнул ей: Врешь ты!
Она ответила тяжелым вздохом.
Что же это будет? спросил стрелочник, усаживаясь на кядку около двери.
Срам-то мне какой! А все ты, уродина чертова, все ты это... у-у!
Сжав кулак, он погрозил в сторону, откуда доносился звук ее дыхания. Она же

молчала.

Сырая тьма окружала их, тьма, пропитанная запахом кислой капусты, плесени и еще чего-то острого, щекотавшего нос. В дверь сквозь щели пробивались ленты лунного света. За дверьми грохотал товарный поезд, уходящий со станции.

Что молчишь, кикимора? заговорил Гомозов со злобой и презрением. Как теперь я буду? Наделала делов и молчишь? Думай, черт, что будем делать? Куда от сраму мне деваться? Ах ты, господи! На что я связался с этакой!.. Я прощения попрошу, тихо объявила Арина.

Ну?

Может, простят...

Да мне что из того? Ну, простят тебя, ну? Ведь срам-то на мне останется или нет? Надо мной смеяться-то будут?

Помолчав, он снова начинал укорять и ругать ее. А время шло жестоко медленно. Наконец женщина с дрожью в голосе попросила его:

Прости ты меня, Тимофей Петрович!

Колом бы тебя по башке простить! зарычал он.

И опять наступило молчание, угрюмое, подавляющее, полное тупой боли для двух людей, заключенных во тьме.

Господи! хоть бы светало скорее, тоскливо взмолилась Арина.

Молчи ты... я те вот засвечу! пригрозил ей Гомозов и снова начал бросать в нее тяжелыми укорами. Потом наступила пытка тишиной и молчанием. А жестокость времени все увеличивалась с приближением рассвета, точно каждая минута медлила исчезнуть, наслаждаясь смешным положением этих людей.

Гомозов задремал наконец и проснулся от крика петуха, раздававшегося рядом с погребом.

Эй, ты... ведьма! Спишь? глухо спросил он.

Нет, тяжелым вздохом ответила Арина.

А то бы заснула! с иронией предложил стрелочник. Эх ты...

Тимофей Петрович, почти взвизгнув, воскликнула Арина, не сердись ты на меня! Пожалей ты меня! Христом богом прошу пожалей! Одна ведь я, одна-то одинешенька! И ты мне... родной ты мой ведь ты мне...

Не вой не смей людей-то! строго остановил Гомозов истерический шепот женщины, несколько смягчавший его. Молчи уж... коли бог убил...

И снова они молча ждали каждой следующей минуты. Но минуты шли, не принося им ничего. Вот наконец в щелях двери сверкнули лучи солнца и блестящими нитями прорезали тьму на погребе. Вскоре около погреба раздались шаги. Кто-то подошел к двери, постоял и удалился.

М-мучители! замычал Гомозов и плюнул. Снова ожидание, молчаливое и

напряженное.

Господи!.. помилуй... прошептала Арина.

Как будто тихо подкрадываются к погребу... Гремит замок, и раздаётся строгий голос начальника:

Гомозов! Бери Арину за руку и выходи ну, живо!..

Иди ты! вполголоса сказал Гомозов. Арина подошла и, опустив голову, стала рядом с ним.

Дверь отворилась, перед ней стоял начальник станции. Он кланялся и говорил:

С законным браком поздравляю! Пожалуйста! Музыка играй!

Гомозов шагнул через порог и остановился, оглушенный взрывом нелепого шума. За дверью стояли Лука, Ягодка и Николай Петрович.

Лука бил кулаком по ведру и козлиным тенором орал что-то; солдат играл на своем рожке, а Николай Петрович махал в воздухе рукой и, надув щеки, делал губами, как труба:

Пум! Пум! Пум-пум-пум!

Ведро дребезжало, рожок выл и ревел. Матвей Егорович хохотал, взявшись за бока. Хохотал и его помощник при виде Гомозова, растерянно стоявшего перед ними, с серым лицом и сконфуженной улыбкой на дрожащих губах. За ним неподвижно, точно каменная, стояла Арина, опустив голову низко на грудь.

Тимофею да Орина

Сладки речи говорила...

Ну, идите... ну... под руку бери ее!.. кричал начальник станции, надрываясь от хохота. На крыльце сидела жена и качалась из стороны в сторону, визгливо вскрикивая:

Мотя... будет... ах! умру!

За миг свиданья

Терплю страданья!

Ур-ра новобрачным! скомандовал Матвей Егорович, когда Гомозов шагнул вперед. И все четверо дружно гаркнули ура, причем солдат кричал ревущим басом.

Арина шла за Гомозовым, подняв голову, раскрыв рот и свесив руки вдоль корпуса. Глаза у нее тупо смотрели вперед, но едва ли видели что-нибудь.

Мотя, вели им... поцеловаться!.. ха, ха, ха!

Новобрачные, горько! закричал Николай Петрович, а Матвей Егорович даже прислонился к дереву, ибо от смеха не мог держаться на ногах. А ведро все грохотало, рожок выл, ревел, дразнил, и Лука, приплясывая, пел:

А и густо ты, Орина,

Да нам кашу наварила!

И Николай Петрович снова делал губами:

Пум-пум-пум! Тра-та-та! Пум! пум! Тра-ра-ра!

Гомозов дошел до двери в казарму и скрылся. Арина осталась на дворе, окруженная беснующимися людьми. Они орали, хохотали, свистали ей в уши и прыгали вокруг нее в припадке безумного веселья. Она стояла перед ними с неподвижным лицом, растрепанная, грязная, и жалкая, и смешная.

Новобрачный удрал, а... она осталась, кричал Матвей Егорович жене, указывая на Арину, и снова корчился от хохота.

Арина повернула к нему голову и пошла мимо казармы в степь. Свист, крик, хохот провожали ее.

Будет! Оставьте! кричала Софья Ивановна. Дайте ей очухаться! Обед нужно готовить.

Арина уходила в степь, туда, где за линией отчуждения стояла щетинистая полоса хлеба. Она шла медленно, как человек, глубоко задумавшийся.

Смеяться, право, не грешно

Над тем, что кажется смешно!

Смеялись на станции в тот день много, но обедали плохо, потому что Арина не явилась стряпать и обед готовила сама начальница станции. Но и дурной обед не убил хорошего настроения. Гомозов не выходил из казармы до времени своего дежурства, а когда вышел, то его позвали в контору начальника, и там Николай Петрович, при хохоте Матвея Егоровича и Луки, стал расспрашивать Гомозова, как он увлекал свою красавицу.

По оригинальности это грехопадение номер первый, сказал Николай Петрович начальнику.

Грехопадение и есть, хмуро улыбаясь, говорил степенный стрелочник. Он понял, что если сумеет рассказать об Арине, подтрунивая над нею, то над ним будут меньше смеяться. И он рассказывал:

Вначале она мне все подмаргивала.

Подмаргивала?! Ха-ха-ха! Николай Петрович, вы только вообразите, как это она, такая р-рожа, должна была ему подмаргивать? Прелесть!

Значит, подмаргивает, а я вижу и думаю про себя шалишь! Потом, стало быть, говорит, хочешь, говорит, я тебе рубахи сошью!

Но не в шитье была тут сила... заметил Николай Петрович и пояснил начальнику: Это, знаете, из Некрасова из стихотворения Нарядная и убогая... Продолжай, Тимофей!

И Тимофей продолжал говорить, сначала насилуя себя, затем постепенно возбуждаясь ложью, ибо видел, что ложь полезна ему.

А та, о которой он говорил, лежала в это время в степи. Она вошла глубоко в море хлеба, тяжело опустилась там на землю и долго неподвижно лежала на

земле. Когда же солнце накалило ей спину до того, что она уже не могла больше терпеть жгучих лучей его, она перевернулась вверх грудью и закрыла лицо руками, чтобы не видеть неба, слишком ясного, и чрезмерно яркого солнца в глубине его.

Сухо шуршали колосья хлеба вокруг этой женщины, раздавленной позором, и неугомонно, озабоченно трещали бесчисленные кузнечики. Было жарко. Попробовала она вспомнить молитвы и не могла: перед глазами у нее вертелись смеющиеся рожи, а в ушах ныл тенор Луки, раздавался вой рожка и хохот. От этого или от жары ей теснило грудь, и вот она, расстегнув кофту, подставила свое тело лучам солнца, ожидая, что так ей будет легче дышать. И в то время, как солнце жгло ее кожу, изнутри ее грудь сверлило ощущение, похожее на изжогу. Тяжело вздыхая, шептала она изредка:

Господи!.. помилуй...

В ответ ей раздавался сухой шелест колосьев да стрекот кузнечиков.

Приподнимая голову над волнами хлеба, она видела их золотистые переливы, черную трубу водокачки, торчавшую далеко от станции, в балке, и крыши станционных построек. Больше ничего не было в необъятной желтой равнине, покрытой голубым куполом неба, и Арине казалось, что она одна на земле, лежит в самой середине ее и уж никто никогда не придет разделить тяжесть ее одиночества, никто, никогда...

К вечеру она услышала крики:

Арина-а! Аришка, че-ерт!..

Один голос был голосом Луки, другой солдата. Ей хотелось услышать третий, но он не позвал ее, и тогда она заплакала обильными слезами, быстро сбегавшими с ее рябых щек на грудь ей. Плакала она и терлась голой грудью о сухую теплую землю, чтобы заглушить эту изжогу, все сильнее терзавшую ее. Плакала и молчала, сдерживая стоны, точно боялась, что кто-нибудь услышит и запретит ей плакать.

Потом, когда наступила ночь, встала и медленно пошла на станцию.

Дойдя до станционных построек, она прислонилась спиной к стене погреба и долго стояла тут, глядя в степь. Являлись и исчезали товарные поезда; она слышала, как солдат рассказывал кондукторам о ее позоре и кондуктора хохотали. Хохот далеко разносился по пустынной степи, где чуть слышно свистали суслики.

Господи! помилуй... вздыхала женщина, плотно прижимаясь к стене. Но вздохи эти не облегчали тяжести, давившей ей сердце.

Под утро она осторожно пробралась на чердак станции и там повесилась, устроив петлю из веревки, на которой сушила выстиранное ею белье.

Через два дня по запаху трупа Арину нашли. Сначала все испугались, потом стали рассуждать, кто виноват в этом деле? Николай Петрович

неопровержимо доказал, что виноват Гомозов. Тогда начальник станции дал стрелочнику в зубы и грозно велел ему молчать.

Явились власти, произвели следствие. Выяснилось, что Арина страдала меланхолией... Рабочим дорожного мастера было поручено свезти ее в степь и там закопать. Когда же это было исполнено на станции снова воцарились порядок и спокойствие.

И снова ее обитатели начали жить по четыре минуты в сутки, изнывая от скуки и безлюдья, от безделья и жары, с завистью следя за поездами, пролетающими мимо них.

...А зимой, когда по степи с воем и ревом носятся вьюги, осыпая маленькую станцию снегом и дикими звуками, обитателям станции живется еще скучнее.